

Сегодня. - 1994. - 30 апреля - с. 12

Тогда расходятся морщины на челе

Первого мая Виктору Петровичу Астафьеву исполняется семьдесят лет

Андрей Немзер

Д

ар Астафьева — удивление. Не восторженная, всегда чуть взвинченная растерянность зашого человека перед чем-то прежде неведомым, но счастливая способность ощущать в обыденном, сто раз виденном, дыхание чуда, дива дивного. Так в «Царь-рыбе» Аким думает о Полярном круге: «И хотя он в Заполярье родился, вырос, все видел и знал, при научном слове «параллель» у него в голове преображалось, жизнь и местность приобретали какие-то иные формы, и выходило, что по эту сторону параллели — лес, ягоды, кустарники, боровая птица, лесной зверь, а по ту — сразу же голая тундра, испятнанная озерами, и ничего там нет, кроме мха и кустарников, уток да гусей, песцов да куропаток.» Сказка, «ученость» и житейский опыт сплавляются воедино, как сливаются простодушно перечислительная интонация героя с поэтическим словом повествователя. Одинаковые слова по разные стороны «параллели» становятся антонимами: «кустарники» в соседстве «боровой птицы» совсем не то, что «кустарники» тундры, хоть и летят над ними гуси да утки. Простое, часто не изукрашенное эпитетами и обходящееся без уточнений слово наливается поэтической конкретностью, напитывается общей энергией астафьевской прозы, и чудо жизни, казалось бы, доступное, являет себя с непредполагаемой все-таки прежде мощью. Знакомый мир, знакомые люди, знакомые истории не перестают обжигать писателя и дорогих ему персонажей вечной непостижимостью. Потому и жадный до впечатлений прозаик вновь и вновь возвращается к тому, что вроде бы уже столько раз им пережито-воссоздано: детство, война, Сибирь. Поклон не может стать последним.

Просто сказать, что Астафьев любит жизнь, — да только известную песню на эту тему распевает у него браконьеры в том самом рассказе, что заканчивается трезной по бессмысленно забытым и выброшенным на свалку глухарям. «Всю зиму и весну пировали вороны, сороки, собаки, кошки; и как вздымался ветер, сажеем летало над поселком Чуш черное перо, поднятое с берегов обсохшего пруда, летало, кружило, застыл белый свет, ребя отгорелым порохом и мертвым прахом на лике очумелого солнца.» «Порох» и «прах» — далеко разбежавшиеся огласовки одного и того же слова — стиснуты вновь волей писателя, в который раз увидевшего воочию силу зла, то, что за роковой чертой, где «кончается человек и из дальних, напленных пещерной жутью времен выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкостое мурло первобытного дикаря». Почти те же слова всплывают в рассказе «Людочка», когда звероватый отчим миномехом сгубленной тихой девушки обрушится на шайку пакостливых негодяев-наильников. Почти те же слова клубятся в «Печальном детективе», где снова и снова ставит нас писатель лицом к лицу с бесноватой поганью, столь бессовестной и безнаказанной, что кажется: это серенькое зло можно преодолеть лишь злом большим, черным. Как перо над поселком Чуш. Как гарь войны. Как гремящая в висках, кровавая, слепая ярость астафьевских мстителей. Зло рождает зло. И нет выхода из заколдованного круга. Клином не вышибешь. Молчаливая снисходительность (легко превращающаяся в жалость к «несчастненькому» насильнику)

укрепляет бесовщину и, что не менее страшно, приучает к естественности зла.

Нет страшнее лжи. И Астафьев не устает умолять нас, привыкших не замечать разора и кощунства, подменять свободный и ответственный взгляд на бытие комфортной и трусливой «всепонимающей» глумливостью: зло сильно, извортливо, нагло, умеет подбираться к каждому (чудовищные «самолеты» в «Царь-рыбе» ставят не одни хапуги, но и сердечно любимый Астафьевым и нами Аким), зло может быть каким угодно, но оно всегда **противоестественно**. И если забыть об этом, если не замечать, как злодействуют «государевы людишки» или окрестная шпана, если перестать изумляться злу и воспринимать как должное расчеловечивание человека, то — пусть виною история, но не одними же



АЛЕКСАНДР КАЗАНОВ

«вождями» она сложилась! — человек (каким бы славным хозяином, умельцем, мастером, другом и семьянином он ни был) попадает в ловушку. Он либо рассыпается прахом, растворяется в сероватом мертвом дымке, загигается до срока — либо воет с волками по-волчьи.

Третье — дано, но оно-то и требует различения добра и зла в себе и в мире. И тогда слова о любви к жизни теряют парикмахерский привкус незабытого шлягера, а гнев и боль не выворачиваются в слепую злобу. Тогда осмысленным становится доверие к человеку, а его грех рождает в твоей душе долгое томящее недоумение, печаль пополам с надеждой. Тогда пишутся «Царь-рыба», «Пастух и пастушка», «Последний поклон», «Прокляты и убиты»...

«Я оглянулся и от серебристого крапа, невадали переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось и обмерло от радости: на каждом листке, на каждой хвоинке, травке, в венцах соцветий, на дудках дедулек, на лапах пихтарников, на необгорелыми концами высунившихся из костра дровах, на одежде, на сухостоинах и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блеску света, но, слившись вместе, эти блески заливали сиянием торжественной жизни все вокруг, и вроде бы впервые за четверть века, минувшего с войны, я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал, а быть может, подумал: «Как хорошо, что меня не убили на войне и я дожил до этого утра...»

Действительно, как хорошо!